

И.Г. Дубровская

## Левинсон

Левинсон Иосиф Абрамович — центральный персонаж романа А.А. Фадеева «Разгром», командир одного из партизанских отрядов на Дальнем Востоке, «маленький, неказистый на вид — весь состоял из шапки, рыжей бороды, да ичигов выше колен». У Левинсона борода «длинным клином», он похож на «гнома, каких рисуют в детских сказках». У Левинсона «нездешние» глаза с длинными ресницами, «глубокие и большие», как озера, «голубые, как омуты». «Ловкие» глаза Левинсона «вбирали» ординарца Морозку «вместе с сапогами и видели в нем многое такое, что, может быть, и самому Морозке неизвестно», «схватили» Мечика и, «вывернув его наизнанку, подержали так несколько мгновений, будто взвешивали все, что там оказалось».

О себе, своем детстве, Левинсон в отряде никому не рассказывал. Отец Левинсона всю жизнь хотел разбогатеть, боялся мышей и скверно играл на скрипке. Левинсон в детстве помогал ему торговать подержанной мебелью. Из своего детства Левинсон помнил старинную семейную фотографию, где щедушный еврейский мальчик с большими наивными глазами с недетским упорством ждал обещанной фотографом красивой птички. Жизнь убедила Левинсона в том, что красивых птичек не бывает, а «лживые басни о красивых птичках» приносят людям неисчислимый вред. Левинсон задавил в себе глухую тоску по чудесам и пришел к простой и нелегкой мудрости — «видеть все так, как оно есть, для того, чтобы изменять то, что есть, приближать то, что рождается и должно быть».

Никто в отряде не знал о колебаниях Левинсона, не представлял себе, что он вообще может колебаться: Левинсон ни с кем не делился своими мыслями и чувствами, преподносил уже готовые «да» и «нет». Он казался всем «за исключением таких людей, как Дубов, Сташинский, Гончаренко, знавших истинную его цену», человеком «особой, правильной породы», которому чужды «слабости», «грехи», который «все понимает, все делает, как нужно», «не ходит к девушкам, как Бакланов, и не ворует дынь, как Морозка». Он знает только одно «дело», поэтому нельзя не доверять и не подчиняться «такому правильному человеку».

Партизаны считали своего командира человеком «особой породы». Левинсон думал, что «вести что за собой других людей можно, только указывая им на их слабости и подавляя, пряча от них свои». Внешние манеры и жизненный опыт перенимал у Левинсона его юный помощник Бакланов. Задавая вопросы, он, как Левинсон грузно поворачивался всем телом, как будто стремясь подчеркнуть особую значимость этих вопросов. Бакланов не знал, что Левинсон из-за старого ранения иначе вообще не мог повернуться. Левинсон сам уверен, что «внешние манеры отсеются с годами, а навыки, пополнившись личным опытом, перейдут к новым Левинсонам и Баклановым».

В своей боевой жизни Левинсон различал два периода. В недолгий первый все его душевные силы уходило на то, чтобы превозмочь и скрыть от людей свой страх в бою; события же развивались помимо его воли. Со временем боязнь за собственную жизнь перестала мешать ему распоряжаться жизнями других, и Левинсон получил возможность управлять событиями. Теперь, когда события складываются самым неблагоприятным образом, Левинсон вновь испытывает сильное волнение, с трудом владеет собой.

Левинсон глубоко верит в то, что людьми движет не только чувство самосохранения, но и неосознанный инстинкт, по которому все, что приходится переносить, «оправдано своей конечной целью» и без которого никто из них не пошел бы умирать в тайге. Левинсон знает: каждый человек слаб, обременен повседневной мелочной суетой; люди, чувствуя свою слабость, «передоверили самую важную свою заботу более сильным».

Глубокой ночью после трудного дня Левинсон читает письмо жены, в котором ничего радостного: продано все, что можно, нет работы, она кое-как сводит концы с концами за счет «Рабочего Красного Креста», у детей цинга и малокровие. В ответ он написал два листа мелким неразборчивым почерком. В этом письме было много таких слов, о «которых никто не мог бы подумать, что они знакомы Левинсону».

Сначала он не хотел ворошить крут мыслей, связанных с этой стороной его жизни, но постепенно увлекся, «лицо его распустилось». Как всегда, Левинсон прячет от подчиненных свои слабости: отгоняет думы о бедствующей семье, преодолевает постоянную боль в боку, не показывает виду, что не знает, «как спасти отряд, и понимает, что это невозможно».

До Левинсона доходят тревожные вести. Из отряда сбежало несколько крестьян, неожиданно загрустивших по дому. Хромоногий хунхуз, державший путь с отрядом, неожиданно свернул к верховьям Фунзина. Начальник штаба партизанских отрядов старый Суховой Ковтун прислал конную эстафету с сообщением о нападении японцев на Анучино, где сосредоточены главные партизанские силы, о смертном бое под Известкой, о сотнях замученных людей. Партизан Канунников привез из города трагическое известие о японском десанте и разгроме Сучана.

Чувствовалось что-то неладное. У Левинсона особый нюх, «шестое чувство», как у летучей мыши. Он расспрашивает людей, прислушивается к бессвязным, на первый взгляд, репликам на крестьянском сходе, изучает карту. Левинсон терпелив и настойчив, «как старый таежный волк, у которого, может быть, недостает уже зубов, но который водит за собой стаи непобедимой мудростью многих поколений».

Партизаны же уверены, что Левинсон имеет точный план спасения отряда. Всем своим видом он показывал это, давая понять, что ничего страшного и необычного не происходит, хотя никакого плана у него не было. Он чувствовал себя, «как ученик, которого заставили сразу решить задачу со множеством неизвестных».

Левинсон старается скрыть свою тревогу, но это удается ему с трудом. Увидев неухоженную кобылу Мечика Зючиху, он выходит из себя, повышает голос, «борода его вздрагивала», он «нервно комкал руками сорванную где-то веточку».

Левинсон всегда был на людях: сам водил отряд в бой, не спал ночей, проверяя караулы, ел с партизанами из одного котелка, разговаривал о самых простых вещах. У костра он слушал грубые побасенки, смеялся «громко и будто искренне». И он тоже рассказал несколько смешных историй — самых замысловатых и скверных, причем Левинсон нисколько не стеснялся, говорил спокойно, насмешливо, и «скверные слова шли, будто не задевая его, как чужие».

Даже когда Левинсон разговаривал с людьми о самых обыденных вещах, в каждом его слове слышалось: «Смотрите, я тоже страдаю вместе с вами — меня тоже могут завтра убить или я сдохну с голоду, но я по-прежнему бодр и настойчив, потому что все это не так уж важно». Несмотря на показную невозмутимость, он чувствовал, что с каждым днем «лопались невидимые провода, связывавшие его с партизанским нутром».

Обычно, когда глушили рыбу на обед, никто не хотел доставать ее из холодной воды. Левинсон заметил, что гоняли самого слабого — робкого и заикающегося бывшего свинопаса, и приказал парню, пинками загоняющего дрожащего Лаврушку в воду, достать рыбу самому. Кривой, словно «ущемленный с одной стороны дверью» парень зло, дерзко отказался. В голосе Левинсона прозвучали угрожающие властные нотки неожиданной силы, он двинулся к парню, держась за маузер, не спуская с него глаз, «ушедших вовнутрь и ставших необыкновенно колючими и маленькими». Левинсон почувствовал себя силой, стоящей над отрядом, но он был убежден, что сила эта правильная.

Теперь Левинсон не считался ни с чем. Если нужно было раздобыть продовольствие, он утонял коров, обирал крестьянские поля и огороды. У трясущегося седовласого корейца Левинсон реквизирует свинью, на которую голодающая семья чуть не молилась (мясо на всю зиму). Кореец плакал, умолял, целовал его ноги. Левинсон жалел корейца,

но чувствуя за собой полтора года голодных ртов, не отменил приказа, только сморщился, словно стрелять должны были в него.

Шли бои. Левинсон утомлен, измучен постоянным недосыпанием, он едва сидит на лошади, после невероятного напряжения сердце «билося медленно-медленно, казалось, оно вот-вот остановится».

Отряд теряет бойцов, колчаковская конница преследует его. Левинсону ничего не остается, как планировать дальний переход хребтами на север, в Тудо-Вакскую долину.

Партизанский врач Сташинский сообщает Левинсону, что смертельно раненый Фролов не выдержит этого трудного пути. Левинсон и Сташинский решают отравить Фролова. «Не глядя друг на друга, дрожа и заикаясь, и мучаясь этим, они заговорили о том, что уже было понятно обоим, но чего они не решались назвать одним словом». Убедившись, что надежд на выздоровление раненого нет, Левинсон «устыдился, что обманывает себя, но ему действительно стало легче». Он просит Сташинского «сделать это сегодня же», только чтобы никто не догадался, а главное — сам Фролов. Мечик, подслушавший разговор из кустов, никогда не видел на лице Левинсона такого беспомощного выражения.

Левинсон страдает от боли в боку. С трудом он поднимается в седло: «сморщившись», «грузно, будто нес в себе что-то большое и тяжелое». Окружающие не видят его слабости. Бывший ординарец Морозка, глядя на Левинсона думает, какие бывают «здоровые, спокойные и обеспеченные люди», не предполагая того, что у Левинсона болит простуженный бок, что он несет в себе ответственность за смерть Фролова, что голова его оценена в пятьсот рублей сибирками, и «раньше всех других может расстаться с телом».

В бою, пока подползала цепь, раскинувшаяся по кустам, Левинсон овладевает собой, его маленькая собранная фигурка с уверенными и точными движениями по-прежнему предстает перед людьми как «олицетворение безошибочного плана, в который люди верили по привычке и по внутренней необходимости».

Заметно поредевшему в бою отряду Левинсон приказывает двигаться к лесу, где было спокойней и глуше — ружейная трескотня и оружейные залпы не нарушали лесной тишины. Мимо Левинсона проходили «придавленные, мокрые и злые» люди.

Сзади бился шахтерский взвод, впереди была трясина. Людьми овладевает отчаяние и гнев, виновником своего несчастья они считали своего командира: это он должен вывести их отсюда, если сумел завести.

За вереницей измученных людей тянулся по тайге грязный, вонючий извивающийся след, точно проползло какое-то смрадное, нечистое пресмыкающееся. Левинсон появился в самом центре людского месива, подняв в руке зажженный факел, освещавший его «мертвенно бледное бородатое лицо со стиснутыми зубами, с большими горячими круглыми глазами, которыми он быстро перебежал с одного лица на другое».

Для всех слышно прозвучал его нервный, тонкий, резкий, охрипший голос: «Кто там расстраивает ряды?.. Назад!.. Только девчонкам можно впасть в панику... Молчать!.. — взвизгнул он вдруг, по-волчьи щелкнув зубами, выхватив маузер, и протестующие возгласы мгновенно застыли на губах. — Слушать мою команду! Мы будем гатить болото — другого выхода нет у нас...».

Левинсон идет к трясине, держа над головой дымящееся смолье. Масса людей, придавленная, сбившаяся в кучу, только что в отчаянии вздымавшая руки, готовая убивать и плакать, пришла в послушное движение: стучали топорами, рубили лозняк.

За ночь гать была построена. Последним через переправу прошел Левинсон. После прохода поредевшего отряда подрывник Гончаренко заложил динамитный фугас.

День был не по-осеннему теплый, деревья в мокром сияющем золоте склонились над дорогой. Левинсон рассеянным взглядом окинул эту красоту, но не почувствовал ее: он ничего не мог сделать для этих людей, покорно тянувшихся за ним, как стадо, привыкшее к вожаку. Левинсон пытается взять себя в руки, но мысли сбивались, путались, глаза слипались, странные образы клубились в его сознании беззвучным роєм.

Он смертельно устал, мысли его были беспорядочны. «Но как я устал, как мне хочется спать! Что могут еще хотеть от меня эти люди, когда мне так хочется спать?..» Бакланов предлагает выслать вперед дозор, и Левинсон мысленно соглашается с ним («У него такая круглая и добрая голова, как у моего сына, и, конечно, нужно послать дозор, а уж потом спать... спать...»).

Левинсон почувствовал, что Мечика не стоит посылать в дозор. «Ему показалось что-то неправильное в том, что Мечик едет в дозор, но он не смог заставить себя разобраться в этой неправильности и тотчас же забыл об этом».

Отряд попадает в засаду. Услышав выстрелы, Левинсон беспомощно оглянулся, впервые ища поддержки со стороны, но на лицах партизан он прочел выражение беспомощности и страха. Левинсон сделал такой жест рукой, точно искал, но не нашел, за что бы ухватиться, и подумал: «Вот оно — то, чего я боялся».

Вдруг Левинсон словно впервые увидел мальчишеское лицо Бакланова, вздрогнул, выпрямился, выхватил шашку и помчался вперед, на прорыв. Левинсон чувствовал, что отряд устремился за ним в бой: не осознавая себя, он полетел над какой-то «оранжевой кипящей пропастью».

«Полусознательное состояние» Левинсона длилось не больше минуты, он «вспомнил об отряде и оглянулся, но никакого отряда не было: вся дорога была усеяна конскими и людскими трупами». Стрельба утихла, пули больше не визжали над ухом. Партизаны, оставшиеся в живых, стали догонять Левинсона. Подрывник Гончаренко насчитал девятнадцать человек с собой и Левинсоном.

Левинсон едет немного впереди всех, опустив голову, задумавшись, мучительно смотрит на всех долгим, невидящим взглядом. Вдруг он круто осадил лошадь, обернулся и впервые осмысленно посмотрел на людей, ища взглядом Бакланова. Услышав, что Бакланова убили, Левинсон весь как-то опустился и съежился, медленно мигая мокрыми ресницами. Слезы катились по его бороде. Все заметили, что он ослаб и постарел, но Левинсон не скрывал своей слабости. Иногда он забывался, растерянно оглядывался, но вспомнив, что Бакланова нет, снова начинал плакать.

Левинсон и за ним восемнадцать человек выехали из леса, увидев простор голубого неба, полноводную реку, ток, на котором трудились люди. Левинсон «обвел молчаливым, влажным еще взглядом это просторное небо и землю, сулившую хлеб и отдых, этих далеких людей на току, которых он должен будет сделать вскоре такими же своими, близкими людьми, какими были те восемнадцать, что молча ехали следом, — и перестал плакать; нужно было жить и исполнять свои обязанности».